

Гэм

Автор:

[Эрих Ремарк](#)

Гэм

Эрих Мария Ремарк

Эксклюзивная классика (АСТ)

Роман «Гэм» относится к раннему периоду творчества писателя и является попыткой Ремарка проникнуть в психологию свободной женщины.

Гэм путешествует по миру в поисках сильных страстей...

Роскошь высшего света и экзотика самых дальних уголков Юго-Восточной Азии, погони и убийства...

Это – очень непривычный Ремарк. Ремарк, еще не успевший стать реалистом.

Эрих Мария Ремарк

Гэм

I

Бедуины в бурнусах кофейного цвета торопливо проскакали мимо. Пахло от них верблюжьим навозом и пустыней. За мавзолеями мамлюков кавалькада вытянулась длинной вереницей на фоне невероятно чистого неба и помчалась во

весь опор, будто намереваясь взять это небо штурмом.

Гэм смотрела вслед всадникам, пока их силуэты не исчезли из виду. Только тогда она нерешительно оторвала взгляд от горизонта и опять обернулась к городу. Смутное беспокойство гнало ее по улицам. У случайного торговца подвернулось старинное издание «Дивана» Абу Нуваса.[1 - Абу Нувас (747 или 762 - между 813 и 815) - арабский поэт, автор любовных и гедонистических стихов. - Здесь и далее, если не указано особо, примеч. пер.] Томик в блеклом кожаном переплете. Каждой из семнадцати песней предпослана иллюстрация. Чистый бирюзовый тон, снова и снова.

Гэм решила, что как раз эту книгу и искала. Поспешно расплатилась и ушла с базара в странном замешательстве, которое ощущала очень сильно именно оттого, что не знала, чем его объяснить.

Норман ждал Гэм, чтобы познакомить с сыном одного из своих друзей, Клерфейтом, который взялся доставить ее в Луксор на самолете. Вылететь можно уже через час. Сам он приедет на следующий день, экспрессом.

Они немедля отправились на аэродром. Клерфейт пристегнул Гэм к самолетному креслу и запустил двигатель. Когда она глянула вниз, узкие улочки Каира были уже глубоко внизу. Горизонт отступал вдаль; каменный массив Мокаттама распался на ущелья и плато. Затем навстречу хлынула пустыня, и самолет устремился к широкому Нилу.

Неподалеку от Хелуана они обогнали две увеселительные барки. Пассажиры на палубе махали им вслед. Гэм бросила вниз шляпу. Ветер свистел в волосах - как же неистова и стремительна жизнь!

Она откинулась на спинку кресла. Клерфейт сидел впереди; над ним возвышались какие-то конструкции, и он казался неотъемлемой их частью - не человек, а воплощение полета...

Пейзаж, чуть размытый вихрем пропеллера, окрасился золотом; наступал вечер. Деревенские псы во весь дух бежали вдогонку за огромной птицей, ослы застывали как вкопанные, какая-то феллашка упустила стираное белье, пароходы исторгали блестящие дымы - мир выглядел словно полотно старого

голландского мастера.

У Асьюта Клерфейт начал снижение. Гранатовые рощи возле гавани и фиговые сады Эль-Хамры взвились вверх, то справа, то слева над бортом показывалась пароходная пристань, шасси мягко коснулись земли, самолет покатил по летному полю и наконец стал.

Ступив на землю, Гэм пошатнулась. Арабы толпой бросились к самолету; следом подъехал автомобиль и затормозил прямо перед нею. Она увидела руку с крупным опалом на пальце. Лунки ногтей были темными. Креол открыл дверцу, выпрыгнул из авто и предложил свои услуги. Клерфейт, не отвечая ему, отправил одного из арабов за полицейской охраной для аэроплана и только потом согласился принять помощь – с подчеркнутой благодарностью, в которой креол явно услышал пренебрежение.

Креол привез их в гостиницу, прощаясь, склонился перед Гэм. Руку Клерфейта он будто и не заметил. Тот скривил губы – креол вспыхнул и едва не кинулся на него с кулаками, но Клерфейт с невозмутимым презрением уже отвернулся.

Вечером Клерфейт показал Гэм гробницу номарха Хап-Тефы. На обратном пути по автомобилю кто-то выстрелил.

– Креол, – сказал Клерфейт, затормозил, вышел из машины и, стоя в лунном свете, стал ждать. Никто не появился, и Клерфейт снова сел за руль.

Ароматы ночи набирали силу. Вдоль дороги стояли пальмы, точно вырезанные из черного стекла. Мимо бежали сонные хижины с редкими огоньками, порой доносился приглушенный собачий лай.

В гостинице Клерфейт немедля распахнул окна настежь. Огромное ночное небо хлынуло внутрь, захлестнуло комнату волнами синевы и серебра, следом влетел ветер, залепетал, запел, порывисто дыша, небо – словно узкая, твердая ладошка, а ветер – смуглый, жаркий шепот. Гэм вся напряглась: что это – шум нильских вод, гул пропеллера, блеск самолетных плоскостей в потоках лунного света, крик сокола? Клерфейт одним прыжком очутился рядом с нею.

Гэм проснулась, когда за окнами уже шумело утро. На реке гудели отплывающие пароходы. Переполненная волнением, она вскочила, дрожа от прохладной свежести воздуха. Вошел Клерфейт. Хищно-свежий, как само это утро, он пружинисто шагнул к ней по ковру, и в его лице ничто не дрогнуло при виде ее восхитительно длинных ног. Клерфейт принес Гэм бронзовую кошку эпохи Аменхотепа IV, фигурка отличалась чрезвычайно благородными очертаниями, особенно изящной была линия от передней лапы к щеке. На затылке у кошки имелось маленькое углубление.

- Через два часа летим дальше, - сообщил Клерфейт.

Ни единым движением он не выдал, что помнит о ночи. Гэм вдруг развеселилась и убежала в ванную.

Самолет стоял неподалеку от запруды, где трудилась бригада коптов. В ароматах утра пустыня была как сон, неопишимо прекрасный в голубой и фиолетово-красной прозрачности. Лошади арабов испугались старта и припустили вскачь - белые бурнусы голубиной стаей взметнулись в солнечный воздух.

Недалеко от Абидоса мотор подавился и заглох. Подхваченный вихрем, самолет рывком вошел в пике. Земля, точно кратер, мчалась навстречу в реве ветра - как вдруг мотор несколько раз коротко кашлянул, затрещал, взвыл, снова заработал, самолет выровнялся.

Гэм чувствовала только шум крови в ушах, казалось, весь мир вот-вот взорвется. Клерфейт оглянулся. От возбуждения ее глаза были огромными; губы ярко алели на побледневшем лице. Он что-то крикнул, но Гэм, безраздельно захваченная ощущением полета, не поняла его слов. Внизу раскинулась бескрайняя равнина с руинами и погребальными храмами давным-давно погибшей культуры. Тень самолета скользила по ним, точно торопливая стрелка времени. Погребальный храм Рамсеса II пропал из виду, и Мемнониум Сети I был уже только именем и воспоминанием, и алтари Осириса тоже скрылись в летучих песках пустыни. Но мерцающее небо мостом соединяло все эпохи, билось в крови, заставляло сердце стучать быстрее, созидало настоящее, созидало жизнь. Минувшее потускнело в его сиянье, и Гэм захлестнуло могучее ощущение Здесь и Сейчас, которое мгновенно претворяло грезы и желания в

спелые плоды.

Колышущееся, скользящее, летучее раскрылось, будто цветок, первый, ясный взор; ласковая встреча, безотчетно долгожданная и все-таки неожиданная, свершилась и миновала, полная предчаяний грядущего.

Клерфейт собирал бронзовую скульптуру, и Норман предложил ему осмотреть коллекцию одного из своих знакомых. Вечером они отправились туда.

Автомобиль долго петлял в фантастических переулках квартала Булак и наконец затормозил у приземистого дома. Женщина-берберка впустила их и повела за собой – сначала по ступенькам, затем по извилистому коридору. Вот блеснули звезды в арке каких-то ворот, и они очутились в четырехугольном, окруженном высокими стенами дворе, посередине которого плескал фонтан. Прямо впереди четко вырисовывались в лунном свете мавританские двери. Вспыхнул свет, мужчина вышел во двор, поздоровался с Норманом и Клерфейтом – Равик.

Еще несколько человек сидели и лежали в полумраке на шкурах и коврах. Берберка принесла шербет и зеленую воду со льдом. Лишь немного погодя Клерфейт заметил у себя за спиной негритянку. Глаза ее блестели, волосы под мышками пахли резко, но не противно.

– Go... go...[2 - Давай... давай... (англ.)] – проворковала она, вытягивая покрытые синей татуировкой ноги.

Послышалась негромкая музыка. Клерфейт прилег на подушки; негритянка тихонько вторила мелодии. Ему казалось, будто он в негритянском краале, в делях африканского буша. Племя возвратилось из грабительского набега на фабрику, и теперь все усталые и ленивые валяются в хижине, набив желудок бычьим мясом и помбе.[3 - Помбе – африканское пиво из проса.] В углу жмутся пленные белые женщины, чья бледная кожа манит и возбуждает мужчин куда сильнее, чем все женщины племени. Наступает ночь, кругом тишина, лишь изредка тявкают шакалы. На следующее утро и в другие дни снова будут схватки и добыча...

Из угла донесся смех. Одна из женщин приподнялась, хотела встать. Ее прическа напоминала шлем. Мелькнуло блестящее колено, открытый влажный рот. Чья-то рука схватила женщину, притянула назад. Берберка бесшумно принесла Клерфейту благовонную амбру.

Размышляя о Гэм, он задумчиво смотрел на Нормана, которому негритянка массировала затылок. Мало-помалу им завладевал дух подспудного, жгучего мужского соперничества, неизъяснимый флюид тайных первобытных инстинктов; ненависть, презрение, враждебность и злобное животное желание расплзались в его мыслях, он растопырил пальцы, сжал их в кулак. Потом отвернулся.

Однако нашептывания не умолкали. Они свивались клубком, точно затаившиеся змеи, и опутывали Клерфейта, меж тем как он смотрел в потолок.

Какой-то карлик кривлялся в танце – тяжелой похотью веяло по комнате от этого горбатого создания. Негритянка перестала напевать, она что-то тихонько ворковала Норману на ухо. Берберка мимоходом коснулась Клерфейта. Из угла потребовали напитков.

Металлический звон гонга – и тотчас глухо зарокотал барабан. У высокого негритянского тамтама стоял юноша, судя по внешности, скорее всего нубиец. Палочки выбивали странно возбуждающий, однообразный ритм. Но как раз это однообразие сообщало глухим звукам неодолимую силу, а само забывалось на фоне порожденного им чувства, под его монотонным воздействием развязывались узлы эмоций, из глубин всплывало бессознательное, возникало примитивное, не было уже ни дроби тамтама, ни такта, только ночь и первобытные звуки, бессловесные инстинктивные порывы, крики над лесами, вопли леопардов и любовный рев буйволов; имя и человеческий образ отпадали за ненужностью, пятнистая и жаркая, вскипала звериная древность, затопляла все и вся... Клерфейт даже не почувствовал, как негритянка прихватила зубами его руку; повинувшись жаркому зову собственной крови, он вскочил, сжал кулаки, внезапно ощутил негритянку, не глядя, резко оттолкнул ладонью ее лицо, огляделся, по-кошачьи ища драки, что-то смутное, упругое, животное неудержимо рвалось из него наружу, он увидел Нормана, судорожно вздернул верхнюю губу, оскалив зубы, прошипел какое-то слово, заставившее того отпрянуть, и, весь дрожа от напряжения, медленно отчеканил прямо в лицо побледневшему сопернику:

– Какая все-таки... прелесть... страстные... возгласы Гэм...

Женщина в углу хрипло вздохнула и вдруг с воплем вскочила, отпихнула барабан, вцепилась руками в плечи нубийца. Но берберка зверем метнулась к ним, оторвала ее от юноши, замолотила кулаками по светлым волосам, впиалась зубами в гладкое плечо... пыхтящий клубок покотился по полу, перепуганный юнец убежал.

С каменным лицом Равик пинками и тычками разнял баб. Берберка опомнилась первая. Но блондинка не хотела подниматься, она скорчилась на полу, ее руки судорожно дергались.

Норман, вполне владея собой, встал перед Клерфейтом. Тот пожал плечами.

– Зачем... лучше сразу...

Норман помедлил, хотел еще что-то сказать, но отошел и заговорил с Равиком.

Выбор пал на пистолеты Равика. Польский барон, по просьбе того же Равика, шагами отмерил во дворе дистанцию. Все считали стычку не слишком серьезной и продолжали болтать о пустяках. Ведь дело самое заурядное: бестактность, которую принято улаживать таким вот способом, – оба промажут, обменяются рукопожатием, и инцидент будет исчерпан. Как зажгут свет, нужно стрелять.

Клерфейт прошел на свое место. Он видел, что Норман ждет от него объяснения и медлит стать напротив. Но ладонь сомкнулась вокруг прохладной стали, как вокруг дружеской руки.

Прозвучала команда. Вспыхнула лампа, тускло осветила двор. Клерфейт стоял неподвижно, пока Норман не выстрелил. Потом медленно поднял оружие и послал пулю напрямиком в известково-белый лоб впереди.

Очувившись на улице, он на секунду задумался, не стоит ли пойти к Гэм. Но сразу же проверил себя: кровь бунтует? Неужто? Он знал, что властвовать другим человеком можно, только властвуя собой. На свете нет ничего

беспощаднее любви; потеряешь свободу чувств – потеряешь и того, кому приносишь их в жертву. Отрекаясь от себя, разом попадаешь в зависимость. Все нежные, кроткие желания – обман и западня. Необходимо всегда быть начеку, иного не дано.

Отпустив машину, он твердым шагом направился к гостинице, чтобы привести в порядок свои дела. Рассеянно написал письмо, заполнил два чека. Потом решил провести вечер в баре.

Бармен украдкой подослал к нему девицу. Клерфейт это заметил и выплеснул своднику в физиономию свой абсент. Глаза у бармена сверкнули яростью, Клерфейт взглядом убил этот гнев и ощутил холодное удовлетворение, когда бармен, злобно бормоча, отвернулся. Но в следующую секунду Клерфейт испугался: откуда вдруг это удовлетворение? Отчего власть над другими уже не казалась совершенно естественной? Может быть, оттого, что он не властвовал собой? Он подозревал девицу.

Но абсент был пресен, шлюха похотлива. Клерфейт смотрел в пространство перед собой и думал: почему он избегает опасности? Ведь теперь он точно знал, что избегает ее и что это действительно опасность. Он бросил на стойку деньги, свистом подозревал автомобиль и поехал к Гэм.

Он завел разговор о безразличных вещах и сразу же почувствовал то, чего желал. Гэм стояла перед ним, тоненькая, стройная. Внимательно смотрела на него, а потом позвонила и велела коридорному принести содовой со льдом. Клерфейт ломал себе голову: отчего он не уступил первому побуждению поехать сюда? Отчего раздумывает и ждет, вместо того чтобы взять Гэм? Где-то расставлен незримый силлок? Разве он уже не отпустил свою кровь вдогонку за мыслями?

Он продолжил разговор, но скоро почувствовал, что нервничает. Не из-за этой истории, что осталась в прошлом, нет, о ней он больше не думал. Здесь, именно здесь было что-то тревожное, новое, неведомое, норотившее поймать его и лишит свободы.

Бессмысленные раздумья. Наверное, лучше всего уйти, создать дистанцию и обрести безопасность. Клерфейт прекрасно понимал: Гэм пока не осознает того, что творилось в его мыслях, того, что порождало в нем нерешительность и

недоверие к себе самому; но вместе с тем он вполне отдавал себе отчет, что речь теперь идет о чем-то необычайно важном, требующем продуманного подхода, и сиюминутные всплески второстепенных чувств необходимо исключить. Иначе впоследствии он дорого поплатится, ибо все это обернется против него. Он хотел удержать, завоевать, владеть – и потому должен был сперва распознать опасность и увидеть, насколько собственная атака успела его ослабить, ведь воевал он сам с собой.

Вот почему он неожиданно попрощался. Внешне бесстрастно.

– Я приду снова... скоро... – Слова прозвучали чуть слишком проникновенно. Он это заметил. И оттого добавил: – Может быть... – Опять ощутил какую-то фальшь, уклончивость. Шагнул к двери и уже на пороге обронил: – Сегодня я застрелил твоего мужа...

Но за спиной осталась тишина.

II

Гэм любила обхватить ладонями хрусталь и ощущать его прохладу. Любила осязать кожей прикосновение бронзы, смотреть в чистую, прозрачную воду. Странно манила ее всегда и гладкая чешуя рыб. Или, например, взять в руки голубя и чувствовать под опереньем его живое тепло.

Она путешествовала. Это более всего подходило к ее зыбкому настрою. Долго она не задерживалась нигде – не любила привыкать. Привычка влекла за собой обязательства, привязывала к деталям и тем портила единство целого. А ей хотелось именно целого.

Однажды вечером она прилегла на кушетку в гостиничном номере. Рядом лежали на кресле разные мелочи, которые она решила держать под рукой.

День выдался безоблачный, но уже совершенно осенний. В оконном проеме темнели резкие контуры деревьев парка. За ними раскинулось небо, у верхнего края окна оно было нежно-голубое и яблочно-зеленое, а книзу цвет плавно

перетекал в оранжевый и густо-розовый. Вместе с кронами деревьев, прорисованными четко, до мельчайших веточек, оно казалось японской гравюрой.

Гэм не шевелилась, спокойно дышала. Там, за окном, был мир. А больше не было ничего, только вот этот час. Ровные ряды деревьев, их уже и помыслить невозможно с листвою – так приостановили биенье жизни мерцающие небеса.

Какая тайна: дышать – и чувствовать, как дыхание медленно пронизывает твоё тело и вновь откатывается в спокойном ритме; загадочная волна, что приходит и несёт жизнь к берегам твоих лёгких и вновь отступает, набухает и опадает по закону, который есть чудо и заключает в себе всю и всяческую жизнь. Кто отдаётся этой волне, всегда будет спасён и защищён. Дыхание и ожидание завершают любую судьбу. В глубоком дыхании таится смысл бытия.

Смутные очертания оконной рамы мало-помалу проступили отчетливее, деревянные переплеты как бы выдвинулись вперед на фоне света. Не отводя глаз, Гэм видела их все резче и яснее.

Внезапно она сообразила: свет окаймлял переплеты широкой опушкой, прежде она его там не замечала. У нее захватило дух: такая же опушка была и на подоконнике, и на спинке кресла, и на уголке стула, и вокруг ковра, искры играли на стекле; свет наполнял комнату, пространство было небом, комната – светом... не тают ли контуры... о дыхание мира... о счастье вещей...

Свет соединился с дыханием и замкнул круг. Оба они были повсюду, их контрасты присутствовали здесь благодаря им же самим и потому жили в них тоже, а больше не было ничего.

Сияние попало в плен маленькой площадки. Гэм бережно взяла ее в руки. Медленно выпрямилась и поднесла искристый блеск к окну. Этот жест наполнил все ее существо. Какое ощущение – поднять руку, целиком, до плеча. Расставить пальцы, обхватить ими какую-нибудь вещицу. Поднести ее к себе, отставить – близкую или дальнюю. Добавить к ней другие, убрать их, отодвинуть прочь, упорядочить по трепетному закону осязания. О мистика пространства...

Ничто уже не было мертвым. Кто дерзнет назвать что-то мертвым, лишь оттого что оно пребывает в покое? Кто дерзнет сказать, что лишь движение есть

жизнь? Разве оно не промежуточно и не преходяще? Ведь им выражают умеренные чувства, разве не так? Самое глубокое ощущение безмолвно, и самое высокое чувство вырастает в долгую судорогу, и восторг венчается оцепенением, и самое мощное движение есть... покой, разве не так? И, быть может, самая живая жизнь – это смерть? О экстатика вещей!

Гэм поехала в Давос. Главный врач санатория представил ей кое-кого из тамошних обитателей. Двух безобидных дипломатов, весьма заурядного итальянца, Браминту-Солу, Раколувну, Кинсли, Вандервелде, Кая, нескольких женщин – имена плохо запоминаются.

Браминта все время говорила о Пуришкове. Уже несколько дней, как он исчез. Наверное, с женщиной, но точно никто не знает. Вполне возможно, он просто впал в меланхолию, а к его эскападам все давно привыкли.

Через час врач попрощался. Кай начал тасовать карты, здесь играли в покер. Гэм вышла с Браминтой в соседнюю комнату, из окон которой был виден снег. Она поглубже забила в кресло, с удовольствием отдаваясь его целесообразной защищенности: горизонтальное сиденье, выпуклость подлокотников, мягкая спинка, которая ласково обнимала плечи. Сколько любви и фантазии потребовалось, чтобы все это придумать...

За стеной слышался голос Раколувны. Мягкий и просительный. Ей ответил баритон. Слов было не разобрать. Минуту-другую продолжался невнятный диалог, потом в пространстве пойманной птицей испуганно блуждал уже один только женский голос.

В комнату быстро вошла Раколувна. Глаза у нее были красные, рот увял. Увидев Браминту, она оторопела и едва не расплакалась, но когда заметила еще и Гэм, овладела собой. Устало подняла руку.

– Я не знала...

Гэм не слушала ее, задумчиво сидя в своем кресле. Браминта-Сола побелела как полотно, встала.

- Вандервелде требует денег? – спросила она.

Раколувна кивнула.

- Вы дали их ему?

Княгиня покачала головой.

- Он ушел?

- Да. – Раколувна заплакала. Как побитый зверек подняла глаза. – Мне было нечего ему дать, драгоценности я продала неделю назад.

- Сколько он требовал?

- Вдвое больше.

- До какого срока?

- До завтра, он все проиграл.

- Я дам вам чек.

Раколувна подняла голову.

- Вы хотите одолжить мне денег?

- Называйте, как хотите. Я дам вам деньги. При одном условии: оставьте Пуришкова...

Раколувна вздрогнула.

- Он русский.

Браминта молчала. Зачем слова, если все уже свершилось; никакой эрос не мог устоять перед могуществом воли, ибо воля холоднее и оттого последнее слово за нею.

Из коридора донесся шум шагов. Раколувна встала – рядом скрипнула дверь, – сказала: «Давайте», – очень мягким жестом взяла чек, улыбнулась, кивнула и вышла навстречу Вандервелде.

На щеках Браминты пылали резко очерченные пятна. Она поймала вопросительный взгляд Гэм и задумчиво произнесла:

– Болезнь... сражаться нет времени. Разве за золотую пряжку борются? Ее покупают. Когда что-то любишь и иным способом получить не можешь – стоит ли отказываться только потому, что тебе приходится это покупать? Зачем окутывать все словами, они ничего не исправят... Да и не все ли равно...

Узкая высокая собака пробежала по комнате. Угольно-черная, гладкая, с бархатной шкурой – афганская борзая. Браминта побледнела. Вошел Пуришков, со второй собакой, как две капли воды похожей на первую.

Он принес несколько книг – какого-то давнего английского мистика и еще два оккультистских тома. Появилась Раколувна со стаканом чаю в руке. Пуришков тотчас встал. Раколувна протянула ему руку. Когда он склонился над нею, Раколувна уронила стакан, чай выплеснулся Пуришкову на костюм, стакан упал на пол и разбился. Пуришков и бровью не повел, только позвонил горничной и извинился: необходимо переодеться.

Секунду Раколувна стояла неподвижно, потом быстро прошла к игорному столу и завела разговор. У Браминты заблестели глаза. Какой мужчина забудет такое... – подумала Гэм. За окнами сверкал снег, всходила луна.

Пуришков вернулся веселый. Заговорил с Браминтой, но глазами искал Раколувну. Наконец она подошла и как бы вскользь заметила:

– Говорят, вы были с какой-то женщиной, Пуришков...

Бледный как смерть, он неотрывно смотрел на нее. Она опять кивнула и с улыбкой погрозила ему пальцем. Он прикусил губу.

Браминта, притворившись, что не слышала этих банальностей, с жаром затараторила. Ноздри ее трепетали, под глазами проступили фиалковые тени. Плечи тускло светились, рот ярко алел на оживленном лице.

Русский почти не следил за тем, что говорила Браминта. Она умолкла, переменяла тон. Голос зазвучал мягко, сердечно, предупредительно. Пуришков сразу почувствовал себя увереннее. Этот тон был слишком под стать его положению, он не мог не откликнуться. Лицо расслабилось. Сам того не сознавая, он отвечал, посылал реплики в знакомое, близкое, что открылось рядом. А Браминта, как только заметила, что он опять нервничает, деликатно закончила разговор. Пуришков поцеловал ей руку и направился к Раколувне.

Та не дала ему и слова сказать – немедля устроила ребячливую сцену ревности. Он растерянно удивился, попробовал унять ее, все объяснить. Потом медленно отступил перед этим пароксизмом. Она точно рассчитала и нанесла ему удар в самое болезненное место. В нем появились холодность и нетерпение, а она продолжала осыпать его нелепыми упреками. Он ничего не понимал, обиделся, снова заговорил не по-русски, а по-французски. На следующий вечер им уже владела Браминта.

– Все же какое это чудо – скрипка, – мечтательно сказала Гэм, меж тем как певучая мелодия вспорхнула над волнами струнных и долгими каденциями, нарастая, поднялась в вышину и завершилась легким выдохом ферматы. – Когда звучит скрипка, кажется, что никогда не умрешь. Небо становится выше, один звук – и все границы расступаются. В скрипке брезжит оперение серой чайки. Где-то есть дом, и все же ты повсюду тоскливо одинок. Под песню скрипки можно совершить безумство... Мир преображается – так чудесна скрипка... Из тебя словно бы кто-то выходит, величественно оглядывается по сторонам, стоит рядом. Губы его шевелятся, руки поднимаются, он будто произносит какие-то слова, и все, что он делает, кажется правильным. Только вот неизвестно, кто ты сам – «я» или этот чужак? Есть ли твое «я» чужак или чужак – это и есть «я»? И чьи дела правильны и добры? В человеке всегда так много чужого... Хочется уйти прочь, куда-нибудь, куда глаза глядят, без всякой цели, далеко-далеко – так чудесна скрипка...

Кинсли молчал. Его лицо четко вырисовывалось на фоне вечера; от крыльев носа, точно глубокие борозды, тянулись к углам узкого рта две складки. Гэм не догадывалась, что говорила не о себе и своем чувстве, не догадывалась, что в самом деле некий призрак выскользнул из нее и завладел ею, что она начала вечную битву полов, которая ждет своего часа, затаившись под маской увлеченности и приязни. Она смутно понимала, что это битва, хотя для нее и придуманы красивые имена, и что она особенно беспощадна, когда ее называют самыми нежными именами.

Гэм держалась непринужденно, но порой, чтобы выманить Кинсли, позволяла обстоятельствам соскользнуть в зыбь непостижности. По его чопорному виду она угадывала, что им движет. Он еще не принял решения, делал шаг-другой, но тотчас же стирал след и направление безобидным замечанием, которое могло придать прорыву видимость случайности. Ронял слова, одно за другим, играючи и небрежно, однако не терял ведущей позиции. Спокойно сосредоточивал силы на далеких рубежах, а когда Гэм следовала за ним, он внезапным жестом, неожиданным поворотом переводил игру в кулисы общечеловеческого, и Гэм в замешательстве умолкала. Но мало-помалу в ней оживали ловкость и выправка. Тихонько бряцали щит и меч.

Среди разговора, который сплетался в клубок половинчатых признаний и уступок и, оставаясь сдержанным и как бы анонимным, осторожно прощупывал противника, в конце концов прозвучал исподволь подготовленный вопрос о прежней жизни Кинсли.

Он только махнул рукой. И в этом жесте исчезли битвы, томления, желания, преодоления – одним взмахом руки он стер годы.

– Забыто... прошлое не имеет ни малейшего значения.

Гэм, вздрогнув, подняла голову – рядом послышался чей-то мягкий голос. Какой-то господин подошел к столу и заговорил с Кинсли. Поклонившись Гэм с рассеянной учтивостью человека, которого интересует совсем другое, незнакомец сказал:

– Я целый день провел в пути ради этого минутного разговора. Полчаса промедления – и все будет напрасно. Случайность человеческих обстоятельств уступает порядку вещей. Засим прошу прощения...

С Кинсли он беседовал недолго. Потом жестом показал: «Ну вот и все», – и с улыбкой обратился к Гэм:

– Лишь случай – закон, а закон всегда случаен. Необычайное в конечном счете неизменно оказывается простым, и потому нарушение некоей формы, вероятно, все-таки не столь серьезно, чтобы его нельзя было понять... в любых обстоятельствах.

Немного погодя Гэм спросила:

– Кто это был?

– Лавалетт.

Туманным днем Кай устроил у себя дома праздник. Гэм пришла туда поздно. Впервые она говорила с Пуришковым, и прежде всего, когда он только подошел, высоко вскинув голову, ей бросилось в глаза, что в нем есть какая-то неуловимая ребячливость. И общительность его шла, пожалуй, от усталой меланхолии, которая не имела отношения к женщинам. Это сблизило их. Очарованной ее походкой, Пуришков пошел следом. Собаки бежали впереди Гэм. Когда она оборачивалась, они черными бронзовыми изваяниями замирали на коврах.

Вихрем к ним подлетела Браминта; она смеялась, но в голосе трепетал страх. Пуришков говорил с нею ровно и учтиво. Она тотчас это заметила, воспрянула, обратилась к Гэм, словно забыла о русском, но, едва он сделал какое-то движение, обернулась к нему – несколько преждевременно – с более сияющим видом, вовлекла в разговор проходившего мимо Кая, улыбкой подозвала Раколувну, неприметно подтолкнула Вандервелде к Гэм, постепенно умолкла, удостоверившись, что беседа оживилась, из-под опущенных ресниц взглянула на Пуришкова, заметила, как Вандервелде петушится перед Гэм, и с облегчением вздохнула.

Вандервелде пытался отсечь Гэм от остальных. Отпускал замечания то с иронией, то с мягким превосходством. Она раскусила его план и, забавляясь, решила его поморочить. Он тотчас клюнул, сбился, но сделал вид, будто ничего не произошло, и попробовал повести атаку с другой стороны. Картинно расположил на темной коже кресла весьма холеную руку, подпустил толику мировой скорби, с меланхолической миной предвкушая эффект, и обескураженно

отпрянул, когда Гэм выказала наивное недоумение. Раздосадованный, что она разгадала его трюк и не попала в сети, он обиделся и до поры до времени разочарованно отстал.

К нему подошла Раколувна. Он сердито фыркнул и чего-то потребовал; она тихо ответила. В дальнем конце комнаты Вандервелде оставил ее и прошел в игорный зал.

Пуришков разыскал Гэм. Выражение его лица напугало ее – все чувства разом вырвались наружу. Слова дождем осыпали ее, она слышала их как шум, но смысла не понимала. Слишком близко подступила тьма из глубин ее собственного существа, тьма толкалась в ладони, молила: выпусти меня...

Браминта сообразила, что происходит. Но превратно истолковала задумчивость Гэм и уже открыла было рот, намереваясь устроить скандал, как Пуришков вдруг встал, пустым взглядом посмотрел на нее и отошел к музыкантам. Взял у скрипача инструмент, жестом прогнал остальных и заиграл.

В этот миг у Браминты-Солы забрезжила догадка, что время ушло и все теперь бесполезно. Она поняла: Гэм не виновата, и никто не виноват... Она мучительно закашлялась, а когда подняла голову, на нижней губе алела капля крови. Браминта пошла прочь и до последней секунды не сводила глаз со скрипки Пуришкова.

Музыка заполнила комнату степью, пустыней и ветром. Свечи потускнели, смуглые женщины жалобно причитали у завешанного шатра, ночь поглотила все грезы и мечты, блекло светила луна над призрачно мерцающими равнинами. И поднялись ветры, Орион грозно стремил свой путь по небосводу, кружились хороводом звезды, ночь раскололась.

Гэм зябко поежилась. Цепочки мыслей рвались, сиротливый исчезал вдали берег вещей и связей. Уровень понятий и слов опускался; и в первозданной глубине оставалось одно-единственное – бессознательная, растительная, животная жизнь. Беспредельная власть мирозданья. Последним пределом всегда было лоно – не чело. Ибо лоно плодородно; оно земля и жизнь.

Гэм вдруг постигла суть женской бессловесности. Речь и мысль принадлежали мужчине. А женщина рождена из безмолвия. Она живет в чужом краю и всего лишь выучила тамошний язык; родным ей он никогда не был. Она поневоле переводит свое сокровенное в понятия, которые не отвечают ее сущности, ибо принадлежат мужчине. Она пытается изъясниться – и всегда тщетно. Никогда мужчине ее не понять.

Смутно вырисовывался удел женского бытия – обращение к толкователю: скажи ты, что во мне, я говорить не умею... Вечная покорность, вечная ненависть, вечное разочарование.

Гэм чувствовала, как все это неудержимой волной вскипает в душе. И все же старалась обуздать эту волну, судорожно подбирала понятия, но они не годились; она искала слов, но слова ломались, как чужие ключи в замках запертых дверей, она мучительно пыталась высказать Это, хотя бы только помыслить, но Это неумолимо ускользало, беззвучно увертывалось, фантомом уходило прочь сквозь ячейки мыслей... Обескураженная немотствующей магией своего пола, от которой не было спасения, она блуждала по комнатам и наткнулась на Раколувну – с заплаканными глазами та сидела в углу.

Сестринское чувство разорвало темное кольцо. Гэм обняла за плечи усталую женщину, прижалась лицом к ее холодной щеке и – дыхание к дыханию, всхлип к всхлипу, без меры, без удержу – истаяла в теплых, облегчительных слезах.

Пуришков отложил скрипку и обнаружил, что остался один. Отрешенно глядя по сторонам, он попытался взять себя в руки, потом медленно разломал инструмент и вышел на улицу, на ледяной ветер, который, оскалив зубы, висел в телеграфных проводах.

Два дня спустя в Давос приехал Клерфейт. Однажды вечером он появился у Гэм, когда у нее был и Пуришков. Клерфейт сразу понял, как нужно поступить. Он принялся восхищаться собаками, но прежде всего «обезвредил» русского – заговорил с ним оживленно и снисходительно, хотя и не обидно, навязав ему тем свое превосходство.

Гэм спросила, как он поживает. В ответ Клерфейт коротко и забавно живописал кое-какие приключения на Балканах, вечер в Нормандии, повел речь о своих

полетах, уже совершенно по-деловому, с подробностями, и достиг своей цели – напомнил о перелете в Луксор, не обмолвившись о нем ни словом.

Перед Гэм вновь раскинулась пустыня, пыль песков, вдали искрящаяся золотом. Урчали пропеллеры, потрескивали плоскости.

Клерфейт чуть тронул прошлое – ровно настолько, насколько это было необходимо для создания легкого эскиза, с беглой серьезностью коснулся неотвратимого трагического конца (он произнес это слово) и набросал блистательные фантастические дворцы грядущего. Затем мало-помалу добавил перспективы, показывая, что лишь солидная материальная основа ограждает от фатальных последствий авантюризма; высочайшее наслаждение испытываешь, когда препятствуешь соприкосновению бытия с этой жизненной сферой и таким образом низводишь до ремесла то, что должно оставаться предельно свободной игрой. Как ни странно, именно неуловимый дурман безудержности требовал укоренения в упорядоченных обстоятельствах и даже более того – сильного ощущения этой укорененности, ибо иначе невозможны ни глумление над самим собой, ни изысканная ирония. Авантюрист без опоры в обществе всегда только бродяга, которому не дано так сильно чувствовать свое «я», потому что в себе самом он не несет ни зеркала, ни противоречивости. А цель как раз в том и состоит, чтобы ощущать себя, сильного и полного энергии, постоянно, во всем. Только имея под ногами надежную опору, можно далеко прыгнуть. Клерфейт легко и убедительно доказал все это женщине, которой никак не обойтись без мужчины, ведь он для нее опора, причем не без определенной гражданской защиты, не без определенной корректной прямолинейности, этого несущего столпа причудливо выстроенного хода бытия, не без формального брака.

После такого заявления Клерфейт сразу сменил тему, осведомился о планах Гэм и спокойно обсудил их с нею. Когда она наугад назвала Рим, он предложил Неаполь, раскритиковал Рим как город скучных показных достопримечательностей, затем неожиданно заговорил с необычайной проникновенностью, пошел на штурм и после нескольких общих фраз внезапно предложил Гэм стать его женой.

Несколько секунд он ждал ответа. Чуть наклонился вперед, заглядывая Гэм в лицо. Потом спокойно встал и направился к двери.

Гэм позвала его обратно, когда он был уже в передней. Она улыбалась.

– Отчего вы уходите?

Клерфейт резко взмахнул рукой.

– Вы любите безотрадные ситуации?

Гэм медлила с ответом. Он догадался, что она хочет сбить его с толку, остановился, ни о чем не спросил и, не позволяя себе бесцельных движений, расслабил только непроницаемо сдержанное лицо. Гэм указала на кресло. Клерфейт бросился на сиденье. «Почему он не может просто сесть?» – подумала Гэм и поблагодарила его за предложение. Из осторожности он продолжал молчать. Любое слово было опасно.

Гэм легонько шевелила пальцами, будто колебалась. Но он чуял здесь ловушку. Ловко и просто она поставила его перед главным вопросом: почему?

Однако Клерфейт уже решился. Завуалированно дал понять, что, как ему кажется, она понимает его правильно. Гэм по-прежнему задумчиво шевелила пальцами, и в тот же миг он сообразил, что спасет его только стремительный напор.

Клерфейт словно бы осторожно отступил и деликатно обошел этот вопрос. Гэм не отстала и задала его снова. Клерфейт притворился, будто в нерешительности ищет выхода. Как и ожидал, она преградила ему путь. И мало-помалу, словно уступая ее настойчивости, он объяснил, что в создавшейся ситуации считает долгом чести устранить неблагоприятные для нее жизненные обстоятельства, возникшие, безусловно, по его вине, и потому готов предоставить ей такую же опору, какую она имела прежде.

Кроме того – он смотрел Гэм прямо в глаза, – для него это не только долг, напротив, даже если б никакого долга не было, он поступил бы сегодня точно так же.

Трюк удался. Хотя предложение было серьезное, Гэм на миг поверила, что у Клерфейта нет никаких иных обязательств, помимо тех, о которых он говорил. Заключительная фраза лишь подкрепила эту уверенность.

Но затем она подумала о том, как издалека он начал, чтобы прийти к своей цели, и опять развеселилась. Он, вновь обретя уверенность, подхватил ее шутливый тон и сказал, что рад видеть в ней такую свободу от предрассудков, хотя она, несомненно, согласится, что его рассуждения были не лишены некоторой доли вероятности.

Уже уходя, он вскользь обронил, что никогда не получал столь безукоризненного отказа.

- Отказа? - с торжествующей насмешкой повторила она.

- Быть может, я предвосхитил события, поскольку вообще-то ожидал такого результата... - отпарировал он, но все-таки не удержался и спросил: - Вы были так веселы... значит, другой?

Она широко улыбнулась.

- Другой? Никогда... вы всегда сами...

Когда все собрались в гостинице, пришел посланец от Пуришкова. Он просил Гэм подарить ему несколько минут. Посланец сообщил, что врач ожидает конца. Гэм тотчас поспешила туда.

Маленькая настольная лампа бросала мягкий отсвет на постель, подле которой лежали собаки. Когда Гэм появилась на пороге, одна из них встала. Врач легонько кивнул и вышел из комнаты. Гэм наклонилась над умирающим. Широкое пальто соскользнуло с ее плеч на собак. Она была в вечернем платье, будто шла на бал.

В комнате царила свинцовая тишина. Ни один звук не проникал внутрь. Часы остановили. Время кануло в небытие. Существовало только желтоватое лицо в подушках.

Одно лишь это лицо еще жило. Тени, скользившие по впалому лбу, среди мертвенного безмолвия комнаты внушали такой ужас, что, когда этот лоб подрагивал, Гэм чудилось, будто вокруг беззвучно реют исполинские крылья.

Медленно, несказанно медленно рука на одеяле начала сжиматься. Гэм болезненно ощутила это движение. Ей показалось, будто все бытие зависит от того, достанут ли пальцы до ладони, и она облегченно вздохнула, когда они наконец сомкнулись. Кровь стучала в ее висках, плечи вздернулись под тонкими бретелями, и внезапно к глазам волной прихлынула нежность.

Она погладила стиснутую руку и подумала, что никогда и ни от чего не бывала так счастлива, как вот от этого: от прикосновения ее живой, теплой кожи ладонь Пуришкова вновь раскрылась, пальцы распрямились, нехотя, рывками, но все-таки, и лежали теперь спокойно, длинные и бледные.

Гэм встретила с Пуришковым глазами. Хотя Гэм говорила себе, что он уже не видит ее, она чувствовала на себе грозный взгляд. Это было выше ее сил. Она осторожно подсунула узкую подушечку под голову умирающего. На его губах словно бы мелькнула улыбка.

Несколько часов – и эти губы окоченеют. Лоб остынет. Сейчас под ним еще пульсирует кровь, еще роятся мысли, торопливо, точно беспорядочные снопы света, бегут по приливным водам, которые, медленно поднимаясь, скоро перехлестнут через плотины духа. Вихри телесной энергии собирались в непостижном хаосе распада.

Неудержимо поднимался прилив, все выше, выше. Но над распадающейся структурой сознания, над ищущими поддержки прожекторами инстинктов, над последней схваткой воли к жизни и жадно вздымающегося прибое играли пурпурные и синие огни сполохов горячечного бреда, они озаряли вырастающие вокруг призрачные фигуры, заслоняли кошмар отравного кровавого прилива миражами давно разрушенного, давно забытого, давно умершего.

Размыты последние дамбы, порваны все узы. В сумбурной мешанине ворохом всплыли разнородные события, сплетая в клубок пережитое, желанное и смутное, – ранняя весна над плакучими березами, девичья головка, запах родины... ярко освещенная рулетка, морозное утро на стальных стволах пистолетов, женские лица, неопишуемая кантилена флейты, цветущий дрок у постели, цветущий желтый дрок у низкой постели, его постели, он вращал в нее, постель прорастала дроком, тонула, земля поглощала ее, крик из-под занавесей, земля давила, душила... губы дрожали, беззвучно, немо сыпались слова через порог губ, тело корчилось, что-то настойчиво просилось наружу, билось в горле, хрипело, собирало силы, в смертном страхе боролось за

спасение... Гэм что-то лепетала, хотела помочь, помочь, кричать, вечно кричать... как вдруг что-то явилось в комнате – поступь скольжения, шорох руки... стены выгнулись, двери провалились внутрь, потолок вращался в помещении, взбухая змеистыми контурами, призрачные звери гурьбой хлынули из углов, мир стонал в безыменной судороге, чудовищно гремел безмолвный вопль этой груди, Гэм рухнула на пол, впиалась ногтями во что-то мягкое, податливое, сжалась в комок, в ужас ждала кошмара, разлома, свистящего воя, предела...

И тут тело Пуришкова обмякло. В глазах возникло что-то стеклянистое, мутно-прозрачное, непостижное... потом судорога зрачков отпустила, грудь опала, и с тяжким вздохом воздух вышел из легких.

Когда Гэм осмелилась глянуть по сторонам, она обнаружила, что полулежит на ковре, крепко прижав колено к кровати. Рукой она, сама того не сознавая, вцепилась в одну из собак. И задушила ее. Собака бессильно вытянула лапы.

Гэм устало поднялась. Во рту пресный вкус крови. Спина точно переломанная. Опершись на кровать, она неотрывно смотрела на Пуришкова. Черты его лица заострились. Мертвые, чужие борозды пролегли по щекам. У крыльев носа сгущались тени. Кожа поблекла.

Гэм уже не узнавала его. Там, на постели, было что-то беспредельно чуждое, оцепенелое, жуткое, что-то, повергавшее в ужас ее живое и теплое существо. Она тряхнула головой, раз, другой, третий, шагнула ближе, чтобы закрыть остекленелые глаза. Но в отсвете лампы под полуопущенными веками мерцал странный, недобрый огонек, точно в белках отражалось пламя, точно в остывающую жизнь уже вторгался распад, точно уже повеяло смрадным запахом тлена, точно подо лбом уже расползалась гниль... и вдруг молнией блеснуло осознание: он мертв! – Гэм отпрянула, бросилась вон из комнаты, даже не заметила спешащего навстречу доктора, опрометью, не оглядываясь, выскочила за дверь, пробежала вниз по лестнице, мимо портье, в свой номер, упала на постель и лежала так до утра. Потом добрела до окна. Из серых далеких сугробов иголкой вырывался пронзительно-зеленый свет. Эта картина запомнилась ей навсегда.

Клерфейт словно забыл о Гэм. Ненароком подвернулась Браминта-Сола. И он почти небрежно завладел ею, а она не сопротивлялась. Неясности прежней жизни не давали ей составить четкую картину. То, что когда-то могло стать спасением, вернуть насыщенность бытия, теперь только ускоряло распад.

С Вандервелде у Клерфейта произошла резкая стычка. Он опрокинул игорный стол, открыл карты и продемонстрировал всем крапленый туз противника. В тот же вечер Вандервелде уехал.

Гэм не обманулась выходками Клерфейта. Он действовал открыто и больше не пытался напускать туману. В тот первый раз они коснулись прошлого, но в ходе разговора ему стало ясно, что говорить о чем-то – уже означает оставить это что-то в прошлом, и внезапно он понял, что это конец.

Конец подошел неприметно, без борьбы, но так необратимо, что даже его, Клерфейта, энергия более не сопротивлялась, а приняла случившееся как закон.

Гэм любила в нем готовность к действию, вечную бдительную настороженность, любила силу его желаний и напряженную сосредоточенность. Его несгибаемая воля умела покорять. Однако лишь на время, не навсегда. Потому что он не вторгался, как повелитель, в ту потаенную область, где был приют и единственное царство женщины. Он притягивал к себе, но не завоевывал. Ловко, сноровисто пробивал узкий подход, завораживал своей гибкой последовательностью, но у самых ворот терпел поражение. Был слишком напряжен и оттого не мог выдержать до конца. Последнюю дорогу способна отыскать лишь естественность.

Клерфейт задумчиво смотрел в пространство. После его ухода Гэм ощутила вокруг себя одиночество, для которого у нее не было имени. Человек всегда одинок. И любовь тоже бегство. Кровь не давала ответа – давала лишь чувство защищенности. Но загадочным образом Гэм продолжала прясать вопросы. Не в праматеринском ли – завершение всякой любви? А материнство – не есть ли оно начало и конец?..

Гэм захлестнуло желание ощутить подле колен жаркое тепло жизни, детский рот, который неловко произносит первые слова... Жить дальше и прогнать все вопросы и одиночества – ребенком.

В этом было свершение и желанная цель. Строптивное бытие унималось, распутывалось, выравнивалось, обретало ясность, определенность и первородную основу. Завязывалось в становлении узлом и получало направленность и смысл. Преображалось в служение.

Рядом с этим все остальное было – отречение и бесплодный пустоцвет. И все же Гэм знала, что должна через боль и страдание пробиться гораздо выше, только тогда она обретет себя. Пусть даже она будет раздавлена, вместо того чтобы в душевном покое достичь очищения, – иного пути у нее нет. Ей был ведом лишь закон бескрайних просторов и безбрежных морей, и она безоглядно следовала ему.

III

В Венеции Гэм поселилась на Канале-Гранде. Каждую ночь под ее окнами проходила гондола. Когда она удалялась и плеска весла уже не было слышно, мужской голос пел умбрийскую серенаду. Звуки волнами скользили по воде – медлительными переливами эхо то откатывалось, то наплывало, словно теснина стен и потока пленила торопливые звуки, навязывая им медленный ритм вод.

Благодаря этому редкостному резонансу голос казался неземным и призрачным. С одинаковым успехом он мог идти и из воздушных высей, и из волн. Когда песня затихала, Гэм тоже садилась в гондолу и велела грести по каналам. Свет фонаря спешил впереди лодки. Оцепенелая тьма оживала под ним и, теплая, красноватая, набегала на плывущую лодку. Каменные гербы взблескивали красками, чудилось, будто резные двери вот только что тихо затворились, – в отпрянувших тенях за озаренными светом колоннами мелькали давние кавалеры, звенели шпаги... В неверном сиянье искрилась окаменевшая греза Возрождения.

Позади гондолы мрак тотчас смыкался. Простор стягивался, свет иссякал, блеск тускнел, тепло умирало. Там вновь воцарялась тьма; ширококрылой летучей мышью она догоняла лодку, собирала отнятое светом и предавала безликости ночи.

Неодолимость этого фантома внушала Гэм страх. Она поднимала фонарь, направляла на корму и прикрывала так, чтобы свет падал на воду узким лучом. Тогда призрак, неуклюже хлопая крыльями, отставал, скрывался в тени дворцов. Но стоило только опустить фонарь, как он являлся опять и следовал за челном.

Когда Гэм уже была готова сдаться, над крышами поднималась луна и все преображала. Она освобождала мрак от приземленной тяжести, и тот вдруг воспарял. Серебряный лунный эфир тысячами тончайших нитей струился с небес, упраздняя силу тяжести. Массивные глыбы дворцов оборачивались изысканной филигранью; колонны покоились на воде, дома тихо плыли, точно ковчег Господень. Фасады мерцали; узкая полоска на грани вод и камня становилась коромыслом весов, которое держало в равновесии озаренное луной и отраженное в воде. Порой, когда откуда-нибудь из-за угла налетал ветер, мимолетный, неопределенный, все легонько колыхалось – и вновь покой.

Под арками мостов лоскутьями лежали обрезки ночи. В них гнездились тепло, обвевало кожу приятной прохладой. В оконных арках испуганно и дерзко тупились на поверхности мрака бледные отсветы, словно коготки перед судьей.

От все более яркого отблеска крыш и вод небо светлело, было как прозрачный опал. И оттого все вещественное как бы развоплощалось.

Даже мысли преображались в чувственные впечатления, которые, будто стайки жаворонков, поднимались к небу и уже не возвращались. Все новые и новые стайки выпархивали из ладоней, устремлялись прочь, ибо их не сдерживала формирующая хватка духа.

Собственные очертания и те едва ли не таяли; серебряная кайма уже сплетала вещественность руки с трепетным воздухом. На коже угадывался блеклый налет. Еще немного – и человеческое разлетится прахом в очередном порыве ветра, который сейчас устало спит на ступенях.

Ощущение времени исчезало; удары колокола были звенящим воздухом, а вовсе не предостережением бренности. Дневная путаница подсознательно складывалась в благосклонное зрелище, навеянное расплывалось, прочувствованное нарастало вокруг ядра и, как железо к магниту, тянулось к полюсу, который лежал в потусторонности.

Несколько раз Гэм казалось, будто на улице среди встречных прохожих промелькнул Кинсли. Это вновь напомнило ей о последних неделях, когда она медлила, желая уйти от решения, которое меж тем созрело само собой.

Так что после отъезда из Венеции недолгие остановки в Парме и Болонье были легким самообманом. Гэм знала, что пойдет к Кинсли.

Однажды вечером она долго сидела на террасах в Генуе и смотрела на море, которое широкой дугой опоясывало город. Рядом с нею покрашенные женщины ели мороженое и тараторили резкими металлическими голосами. Когда в густеющей ночи скрипач заиграл романс, ее вдруг захлестнула нежность, и на глаза навернулись слезы.

Совсем я размякла, подумала она, чувствуя себя будто в паренье над лугами. На нее подействовала не сентиментальная мелодия. Может статься, просто ритм ее пути четко и по-новому обозначился в сонате ее жизни; может статься, то было внезапное осознание грядущего, которое ждет впереди; а может статься, запоздалая волна вынесла наверх заглушенную растроганность давно минувшего дня, и та объяла ее теперь беспричинно, но тем более нежно и ласково. Гэм не знала, в чем дело; все ее существо стремилось к назревающей развязке: искать себя, потерять и преодолеть в неведомом будущем, которое, поскольку она женщина, должно иметь имя и быть соединено с неким человеком – с Кинсли.

Город остался за кормой парохода. Шум порта стих, подул ветер. Берег, точно мятая монашеская ряса, долго висел над водой. Безлюдье, только высоко на горе виднелся пастух-козопас. Недвижная фигура на окоеме, и на плечах у нее древние небеса.

Потом день за днем вокруг шумело море. Низкие острова в зеленом убранстве, с белыми домами, ползли мимо парохода, тонули в золотистой дымке. Плавучие и наземные маяки окаймляли вход в Ла-Плату, песчаные косы замедляли плавание, но вот наконец впереди открылся рейд Буэнос-Айреса.

Гэм страдала от сухого ветра. Кинсли предложил ей поехать в глубь страны, где были его имения. Некоторое время их путь лежал параллельно железной дороге

на Росарио, потом они пересекли ее и свернули на восток. На следующий день им встретился табун мустангов. На них было клеймо Кинсли, эти лошади принадлежали ему.

Но ехали они еще несколько дней. Открытые всем ветрам холмы поросли ежевичником; песчаные низины между ними тянули вдаль свои щупальца. Степная трава стала выше. Какое-то время рядом с машиной скакали пастухи-гаучо, потом они свернули в сторону, метнув в воздух свои лассо. Едва ли не целый час над машиной парил орел, как бы зависнув на одном месте. Под вечер они увидели серый отблеск солончаков, потом вдоль дороги, мало-помалу расширяясь, зазмеилось узкое взгорье с густым ольшаником. Как-то вдруг впереди возникли низкие постройки. Ночь гудела, словно пчелиный рой, когда автомобиль скользнул в лощину, где была расположена ферма.

Навстречу с лаем высыпали собаки, принялись и завывали так, что воздух кругом затрепетал от этого воя. Вышли с фонарями служанки, кликнули собак и засуетились, засновали туда-сюда. Псы никак не унимались, они узнали Кинсли и скакали вокруг. Старая нянька во все глаза смотрела на него, похлопывала по спине. Потом глянула на Гэм и рассмеялась. Она вскормила Кинсли.

К ним торопливо протиснулся управляющий, о чем-то быстро заговорил. Но Кинсли локтем отодвинул от себя всех и вся, подхватил Гэм на руки и под лай собак и радостные возгласы унес ее в дом.

За ужином нянька, подавая на стол, без умолку болтала. Кинсли слушал, не перебивая. Гэм чувствовала себя отстраненной и чужой. Она догадывалась, что долгие годы, прожитые бок о бок, даже и неравных людей соединяли узами, которые порой были прочнее всего остального. Кинсли казался ей одновременно и более чужим, и более близким. Это новое окружение было неотъемлемо от него – не фон, который подчеркивал контраст, но хорошо пригнанная рама. Потому-то он тотчас занял свое место среди этой новизны – новизны для нее, – вошел туда целиком и полностью; не возвысился, но как бы расширился благодаря окружению, которое поддерживало и скрепляло его существо.

Рядом с Гэм сидел пес Пуришкова. Он льнул к ней и испуганно поглядывал на дверь, когда собаки на улице поднимали лай. Стая встретила его враждебно. Он бросился наутек, на бегу внезапно обернулся, в мгновение ока порвал горло ближайшему преследователю, а потом черной молнией метнулся во двор – к Гэм. Она крепко прижимала пса к себе, когда он вздрагивал. Он был чужак, как и

она.

За оконными сетками жужжали москиты. Молоденькая служанка из племени чино подоткнула сетку над кроватью Гэм, погасила свет и, скрестив руки, на прощание что-то невнятно пробормотала. Гэм мгновенно уснула.

На следующий день они с Кинсли верхом отправились на пастбища. Гаучо рассказывали о гевеях у реки и о сборщиках каучука, с которыми у них случилась драка; о таинственных индейцах, которые якобы жили в лесах; о странном свете, который в безлунные ночи блеклой угрозой висел над степью. Потом сказали, что Мак непременно должен что-нибудь сыграть. Этот Мак был из них самый младший. Но он взглянул на Гэм и объявил, что на гитаре порваны струны.

Подскакал какой-то всадник, уже издали крича, что хозяину трактира привезли бочку бренди. Шум поднялся невообразимый. Все кричали наперебой и свистом подзывали лошадей. А потом галопом помчались в трактир. До места добрались через час. Сонный дом вылупился из-за деревьев. Гаучо застучали в окна и двери – немного погодя из окна в нижнем этаже высунулся ружейный ствол, а за ним настороженная физиономия. Гаучо заарканили ружье, требуя немедля впустить их в трактир. Хозяин успокоился, захлопнул окно и отпер дверь.

Гэм и Кинсли отправились дальше. Завеса тьмы сомкнулась у них за спиной. Глухо цокали копыта, и отзвук скачки доносился откуда-то снизу, точно подземные кастаньеты. Наконец Кинсли остановил коней; они спешили, легли в траву и припали ухом к земле – несчетное множество шумов и шорохов, то близких, то далеких: степь говорила. Незримые стада спешили куда-то в ночи.

Когда они, ведя коней в поводу, зашагали дальше, в лицо резко ударила духота, она словно крепко вцепилась в землю и теперь набрасывала на них коварные сети, стараясь притянуть к себе. Лошади забеспокоились, начали пританцовывать. Зной набирал силу, болотной жижей липнул к дыханию и нехотя, медленно заползал в легкие. На горизонте клубились тучи, луна вдруг пропала. Сернисто-желтый свет промелькнул над степью. Потом блеснула зарница, и среди внезапной тишины глухо заворчал гром. В неистовой призрачной скачке промчался табун мустангов, повернул, рассыпался и, словно в замешательстве, опять сбился в кучу. Гэм почувствовала на затылке жаркое

дыхание. Маленький жеребенок пугливо припал к ее шее влажными ноздрями. Холка у него трепетала, он дышал часто и возбужденно, прынул назад, замер и, фыркнув, отскочил. Верховые лошади начали вставать на дыбы, грызть удила и запрокидывать голову – сдержать их удавалось лишь с большим трудом.

И тут вспышка молнии распорола тяжелые тучи. Оглушительно грянул гром.

– В седло! – крикнул Кинсли Гэм.

Кони рванули с места в карьер. Понизу, над самой травой, пронесся ветер, закружился ураганскими вихрями, хлестнул в лицо пылью и мелкими камешками. И ринулся вдогонку за лошадьми, которые безумным галопом летели вперед – вытянутые струной спины, воплощенное бегство от гибели. Слепящие молнии кромсали небо. Колдовским огнем вспыхивали пламенные стены, а между ними полыхали струи синего блеска. Под бешеными ударами исполинских топоров небесный купол трещал и разваливался, молнии вспарывали огромные жилы бесконечности в мифической битве с ночью, которая снова и снова поспешно затягивала разверстые раны бархатом тьмы.

Табун мустангов сгрудился вокруг дерева, дыбась, вращая глазами, в которых жутко мерцали белки. Самые могучие жеребцы кольцом обступили остальных. Защищаясь от опасности, они били копытами и хватили зубами воздух. Жеребята находились внутри кольца взрослых лошадей.

Конь Гэм стремительно бросился к табуну. В следующий миг Гэм оказалась одна в толчее фыркающих животных. В свете молний вокруг поблескивали гладкие спины испуганных мустангов, точно волны бурного моря. Она подобрала ноги повыше, чтобы ее не раздавили, и резко дернула поводья. Но кобыла уже не слушалась. Чую запах необъезженных собратьев, она просто обезумела – с ржанием вставала на дыбы, пыталась сбросить наездницу.

Кинсли увидел Гэм в гуще табуна и, с силой хлестнув своего коня плеткой, устремился на выручку. Какой-то жеребец куснул его за руку. Он ударил его револьвером промеж глаз, осадил коня и поскакал в объезд табуна, чтобы добраться до Гэм с другой стороны.

Первые капли дождя зашлепали по земле. От спин взмыленных мустангов повалил пар; запах был горячий, мощный, крепкий и томительный – буйная

лихорадка течи и смертельного страха, проникавшая в кровь и сметавшая всякую мысль и логику.

Внезапно степь поднялась и вспыхнула, небо обрушилось в бесконечную ярь, мир брызнул клочьями и, пылая, канул в бездне света – в дерево ударила молния. Табун рассыпался. Несколько мустангов дергались на земле. Дерево ослепительным факелом пылало над обломками творения. Гэм опомнилась, когда с шумом хлынул ливень; белая пена от взмыленной кобылы висела в ее волосах. В ней вдруг вскипело неистовство, захлестнуло все ее существо. Бросив поводья, она крепко обхватила шею лошади, которая как безумная летела куда глаза глядят, гонимая чудовищным ужасом. Прижимаясь лицом к гриве, Гэм была зверем и стихией, гонкой, кошмаром и исступлением.

Впереди сверкнула молния – перепуганная кобыла повернула. Кинсли направил своего коня наперерез, чтобы перехватить ее. Но кобыла не узнала хозяина, прыгнула в сторону. Бешеная скачка продолжалась. Хрипло дыша, лошади скакали бок о бок, люди кричали друг другу какие-то неразборчивые слова, тонувшие в реве бури.

Могучим рывком Кинсли бросил своего коня к кобыле, схватил поводья, на полном скаку выдернул Гэм из седла, прижал к себе и от избытка чувств долго кричал в ночь и бурю, пока взмыленный жеребец, сломленный усталостью, не остановился в потоках дождя и оба они, судорожно цепляясь друг за друга, наконец не ощутили под ватными ногами степную почву.

Когда ливень кончился и над землей опять засияла луна, Кинсли бережно устроил спящую женщину в седле впереди себя и поехал домой, а она даже не проснулась.

Зной неподвижно висел над фермой. Гэм подставила руки под струи фонтана. Прохлада манила чистым дыханием, словно могла проникнуть в структуру ее тела и заставить блаженную вялость клеток обернуться текучей стихией. Погруженные в воду, руки обретали собственную жизнь. Точно какие-то диковинные существа, бледные и робкие, виднелись они на фоне зеленого дна. Сумерки выползали из глубины источника.

Из лесу пришли мужчины. Подстрелили шиншиллу и рыжего волка. Собаки заволновались, теребя добычу. Среди гула голосов зазвенел теплый смех, счастливый, гортанный и мягкий, – молодая женщина бежала навстречу мужу, который вернулся с плантаций. Нянька не закрывая рта тараторила о пумах и зорро,[4 - Зорро – южноамериканская лисица.] подстреленных за последние месяцы, и с ужасом показывала рукой в сторону лесов: мол, иной раз ночью ягуары к самой ферме подходят. Потом шумная толпа разбрелась по домам.

Гэм пошла дальше в степь. Заурчали лягушки – будто призрачные монахи забубнили литургию. С жалобным щебетом проносились мимо стрижи. Меж деревьев в прихотливой игре порхали летучие мыши. Толстые мотыльки внезапно поднимались из травы, жуки взблескивали среди былинок, меланхолично покрикивали камышовки, металлом звенели цикады. Шкурой дикого зверя пахли акации.

Когда подошел Кинсли, Гэм без слов медленно обняла его обеими руками, словно не хотела больше отпускать. Молча прильнула к нему, закрыла глаза. Как это сродни смерти, чувствовала она, это высвобождение и излияние в другого, это отречение и смирение перед собственной покорностью, эта упрямая жажда проникнуть в чужое «я» – ласковая смерть от любимой руки...

Некая мысль явилась из давних дней, когда она порой ловила себя посреди какого-нибудь движения – взмаха руки, шага; она словно бы уже знала, что происходит и как это вплетено в ткань грядущего, и потому испуганно и настороженно наклоняла голову, с безотчетным ужасом угадывая, что это странно знакомое некогда уже было, да-да, было. Откуда-то из глубины всплывало ощущение: ты ведь это знаешь...

Но вспомнить никогда не удавалось. Лишь смутно брезжило впечатление, будто на миг загадочно приоткрывается двойственность бытия, на долю секунды приподнимается занавес, за которым совсем другая жизнь, она истаяла, быть может, прежде нынешней, а теперь, перехватив частицу духовного жара, призрачно вспыхивала и устремлялась в сферу сознания. Или то было предвестие бытия, которое еще только формировалось и тускло мерцало за порогом смерти, – а может быть, в волшебном сиянии над осознанным. Сегодня безмолвно кружил духовный хмель Вчера и Завтра, замыкая параболу в кольцо?..

Гэм озябла от ночной прохлады и ушла в дом, который ласково принял ее. Стены с их пределами казались родным прибежищем среди бури чувств. В углу сидела хозяйская ручная обезьяна, под вечер она прошмыгнула в комнату и долго играла тут соляными кристаллами. Станным, до боли трогательным жестом зверек прижимал руки к груди. Когда он шевелился, отблеск окна падал ему на лицо. В глазах блестели слезы.

Огромная тьма творения нахлынула на Гэм. В этом живом существе с коричневой шкуркой пульсировало непостижное, в его внезапных поступках и движениях угадывалась родственная близость, оно было чудом – и внушало ужас, ведь живое в нем казалось более чуждым, чем все, что есть в мире мертвого; некая мощь бродила в нем, неподвластная постижению. Можно было попытаться объяснить ее, но объяснить только по-человечески. Что ведомо нам о пурпурном мистическом мире, который живет рядом и все же находится далеко-далеко, словно на другой звезде? Гэм ужаснулась кошмарному одиночеству, которое разверзлось перед нею и в котором было зачаровано все – оцепененное столбняком, с перепуганными глазами, погребенное в себе самом.

Гэм устроилась у окна и стала смотреть наружу. Как вдруг в колено ткнулась мягкая морда. Собака бесшумно подошла и прижалась к хозяйке.

Чего хотел этот пес? О чем думал? Он пришел сам, никто его не звал. Какой загадочный импульс обусловил этот поступок, который так потрясал, если подходить к нему с человеческой меркой? Пес пришел к своему богу?

Безотрадные боги в образе человеческом, они и не ведают о приязни своих творений и все же не могут обойтись без непритязательной любви существ, знать и постичь которых им не дано. Мир под луною, луна в мирозданье – кто держит все это в своей ладони? Быть богом – трагический финал человечества?

Гэм подняла голову пса и посмотрела на него. Глаза в глаза, совсем близко. Она сверлила взглядом эти два сверкающих глаза, желая проникнуть в их тайну. Пес забеспокоился в ее цепкой хватке, пытался отвернуться, вздрагивал и жмурился. С отчаянным страхом Гэм всматривалась в его глаза. Он опять затих и уставился на нее. Спокойная радужка под поднятыми веками.

Комната начала кружиться. Вещи все быстрее скользили друг за другом. Зеленые полосы рассекали их круженье, искрящимся вихрем пролетали белые

лучистые венцы, пока жгучая оцепенелость напряженных глаз не отпустила, разрешившись тяжелыми каплями, – и пес наконец-то вырвался из сведенных судорогой пальцев.

По лестницам Гэм спустилась во двор, прошла за ворота, в степь, где буйный ветер памперо диким зверем метался среди черных деревьев.

Приоткрыв рот, она жадно вдыхала свежесть ночи. Но оцепенение не уходило. Что-то страшное стискивало паучьими пальцами ее сердце, она чувствовала, что перед нею вот-вот развернется безликий хаос, где ждет безумие.

Внезапно пала обильная роса. В мгновение ока траву оплеснуло каплями влаги. Волосы и брови стали сырыми и холодными. Гэм зябко поежилась. Дальше идти не хотелось, дорога вела во тьму. А она хотела к людям – к людям, насмеялось эхо. Летучая мышь запуталась у нее в волосах. Она вскрикнула и бегом бросилась к дому. Пришел Кинсли, заговорил с нею, голос его внушал покой, а голова склонилась к ее лицу, точно луна в небе. Она прижалась к нему, потянула его к себе в подушки.

Он чутьем угадывал, что взволновало Гэм, и, ласково поглаживая, успокаивал. Даже когда она благодарно уткнулась губами в его ухо и обмякла, Кинсли ее не взял.

Наутро, проснувшись, она долго смотрела по сторонам. День был светлый, яркий. Воздух за окном уже трепетал от зноя. Теплыми волнами вливался в комнату. Во дворе пела нянька. Громыхали телеги, радостно лаяли собаки, кричали попугаи. Мир был открыт и упорядочен. Одна форма соединялась с другою; уверенно и твердо стояло у дверей бытие.

Что же это было... Наваждение, безумный сон. Ночь с ее злым волшебством ушла; настал день, и вокруг была жизнь и реальность настоящего.

Гэм все еще грезил, когда пришел Кинсли и, смеясь, высыпал на кровать целый выводок котят. Малыши неуклюже ползали по одеялу и тихонько попискивали.

Гэм смотрела на Кинсли по-детски робко и покорно. Ей вдруг вспомнилось, как она заснула, и лицо залилось краской. Она быстро схватила его руку и поцеловала. А вскоре весь дом звенел от ее песен.

На следующий день к ним мимоходом завернул караван мулов из Сьерра-Кордобы. Он вез на побережье пестрый мрамор и медь. Вожатый велел погонщикам – индейцам гуарани и тупи – расположиться на отдых неподалеку от эстансии. На груди у индейцев были татуировки – племенной тотем. Устроившись в тени акаций, они терпеливо жевали кукурузные лепешки.

Вожатый показал Кинсли особенные находки: кварцы с синими прожилками и на удивление крупные кристаллы горного хрусталя. Гэм он подарил два агата.

Заметив, с каким удовольствием она рассматривает камни, Кинсли принес ей индейское ожерелье из оправленных в золото сердоликов и аметистов. Вечером Гэм обернула этой ниткой бедра, когда, обнаженная, сияя в коричневых сумерках белой кожей, ходила по коврам.

Спустя две недели Гэм и Кинсли были на побережье; парусная яхта Кинсли стояла на рейде. Некоторое время крачки и чайки провожали яхту, дельфины резвились в волнах. Раз Гэм даже заметила треугольный плавник акулы. Вечером вода слабо фосфоресцировала. Летучие рыбы едва не выпрыгивали на палубу. Потом яхту подхватил пассат.

Полубак был отделен от остальной части судна тентом. Гэм в шезлонге нежилась на солнце. Команда отдыхала – сиеста; только рулевой за штурвалом клевал носом. Кинсли отослал его в кубрик и сам стал за штурвал.

Синее небо кружило над яхтой; со всех сторон потоки солнечного света. Беспредельный полдень раскинулся над миром, стремясь к высшей своей точке, все безмолвствовало, все замерло в пугающей неподвижности.

Гэм поднялась. Прозрачные бисеринки пота покрывали ее лоб. Вставая, она ощутила, как кровь темной волной прихлынула к глазам. Она потянулась, чувствуя в каждой жилке солнечное струенье. Забыв обо всем от сладости этого ощущения, она сбросила одежду, желая целиком отдаться объятиям солнца. Погрузилась в него, обратила закрытые глаза к небу.

Среди света и плеска волн она вдруг необычайно ясно осознала свое «я», свое существо, в которое хрустальным ручьем вливался мир. Она была морем, и светом, и вечностью. Мера всего сущего пела в ней – пела яхта, пел ветер, пело море, пело небо; она раскрыла обращенные к солнцу глаза – молния пронзительной боли, плеск волн, пение, начало и конец, слитые в одно, шум и безмолвие. Мистерия.

Руки ощупью шарили вокруг, колени дрожали, она кричала в безотчетном упоении и не слышала своего крика. В ней разверзлась рокочущая, пронизанная дрожью пучина, куда рухнула жизнь, врата жизни, сокровищница жизни, бездна жизни, куда вечно стремилось живое, – лоно... Она криком звала жизнь, трепетала, пылко ее предвкушая, шептала, хваталась за пустоту, стонала, хрипела сквозь стиснутые зубы, цеплялась за чью-то одежду, не понимала, что говорит ей чей-то голос, вырывалась, отталкивала мужчину, кричала:

– Солнце... объемлет... небо... обвивает... мир изливается... жизнь... струится...

Она увлекла мужчину в неистовство, и он сдавил руками ее горло, стал душить. От удушья губы ее сложились в гримасу столь невообразимого наслаждения, что Кинсли разжал пальцы. Она тотчас же опять вцепилась в него, и он в ужасе отшвырнул ее от себя. Пошатываясь, Гэм встала, странно парящей походкой, с загадочной усмешкой на воспаленных губах прошла мимо него, запрокинув голову, отрешенно уронив руки, ощупью спустилась в кубрик.

Навстречу ударил полумрак. На мгновение она замерла, синий блеск, который нес ее, потух. Однако немного погодя Гэм вновь услышала глухой плеск, и в люке опять заголубело небо.

Рулевой проснулся в своем гамаке, протер глаза и, еще полусонный, хищно выпрыгнул из сетки.

Но китаец-кок был уже рядом с Гэм. Похоть оцепенила его лицо, превратила в маску Медузы. Отталкивая рулевого, он тянул свои лапы к стройным белым бедрам. Но рулевой не давал себя оттеснить, лез к женщине. Китаец зашипел и попытался остановить фриза. Они покатались по полу, пыхтя и отчаянно дубася друг друга.

И тут в дверях вырос Кинсли. Держась одной рукой за косяк, другой он нащупал револьвер, но тотчас сообразил, что пуля может задеть Гэм, бросил оружие, схватил плеть и начал охаживать дерущихся. Кок с воплями скорчился на полу. Кинсли пнул его в физиономию и увел Гэм в каюту. Она открыла глаза, пролепетала что-то невнятное, сонно улыбнулась, точно вялый цветок, уронила голову в подушки и сразу же крепко уснула.

Кинсли долго в задумчивости сидел подле нее. В конце концов потрянул головой и встал – надо глянуть, как там китаец. Тот по-прежнему лежал на полу. Кинсли осмотрел его и отправил спать. Теперь настал черед рулевого, который притих в углу. Кинсли сказал, что в ближайшем порту он получит расчет.

Ночью Гэм проснулась. И попыталась собраться с мыслями. Что-то произошло. Она чувствовала себя свежей, возрожденной. Темные вихри умчались прочь. Ступени кончились, впереди ждала просторная равнина. Она уступила могучему внутреннему желанию, которое в слепом, первозданном порыве швырнуло ее к мужчине. Но для нее в этом взрыве женского начала было нечто большее – глубочайшее переживание себя как человека, сосредоточенное в эротических сферах, потому что она была женщиной.

Мистическая карма, бросавшая повсюду свои зеркальные отсветы, внезапной вспышкой высветила ее сокровенное «я».

Годами события и переживания властвовали ею, не давая ни минуты покоя. Как во сне, она едва ли не смиренно покорялась их власти. И вот теперь наивысшая точка была позади, Гэм прочувствовала свою человеческую природу. И знала, что это останется с нею навсегда.

Испытание свершилось. Пора в обратную дорогу. От пестрого многообразия путь привел ее к единству в себе самой и теперь вновь повернул к многообразию, к непостижному, заманчиво-авантюрному впереди, к жизни, которая всегда и везде имела облик мужчины.

Светало. С палубы донеслись невнятные голоса. Кинсли поднялся наверх. Матросы сгрудились вокруг рулевого. Увидев Кинсли, тот направил на него револьвер и сказал: ни с места, иначе конец. Увольнение он должен отменить. Они-то в чем виноваты? Для гарантии Кинсли выплатит всем жалованье за три месяца вперед. Протест бесполезен. Они в открытом море.

Кинсли пристально посмотрел на рулевого. Тот смешался и опустил оружие.

– Стреляй! – сказал Кинсли, шагнул к нему и отобрал револьвер. Матросы попятнулись. Минуту-другую Кинсли молчал, потом вспомнил о причине инцидента и почти с грустью бросил: – Можешь остаться.

Гэм все это слышала. Но когда увидела Кинсли рядом, безмолвного и добродушного, неожиданно подумала: неужели все кончено? По-прежнему ли он понимает ее? Что-то встало между ними, но она не знала, от кого это шло. Это был не упрек, не обвинение. Сам Кинсли.

Под вечер, когда она вышла на палубу, рулевой ухмыльнулся ей в лицо. Она не знала почему, но догадалась, вспомнив утреннюю сцену, и свистом подозвала легавого пса Кинсли, который принес ей плетку. На обратном пути она снова увидела наглую ухмылку. И наотмашь хлестнула плеткой по этой физиономии.

IV

Они стали на якорь в Коломбо. Местные каноэ с балансиром тотчас окружили яхту. Гэм бросала в воду монеты. А туземцы, словно тюлени, ныряли, выуживали их и шумно ссорились из-за добычи. На влажной загорелой коже играло солнце. Пальмы на берегу, ароматы земли. Стоя рядом с Кинсли у поручня, Гэм махнула рукой в сторону ныряльщиков.

– В общем, неудивительно, что на Востоке белый – цвет траура, нам боги представляются белыми, а ведь они – бронзовые...

– Бронзовые и жестокие, – сказал Кинсли, – беспощадные. И это хорошо. Стало быть, они насквозь пропитаны мелочным эгоизмом. Слабостью к себе самим. Упадок тоже имеет свою логику.

– Которой сопротивляются.

– Бесполезно. Кто любит восхождение, должен принять и упадок, ведь то и другое неразделимо. Но восходящий не верит в падение.

- Даже когда уже падает?

- Потому что он не умеет истолковать знаки времени. Когда дом приходит в упадок, осыпается штукатурка. И упадок судьбы тоже имеет свои предвестья. Долго им сопротивляться – безрассудство, а то и сентиментальность, что еще хуже. Становишься смешон. Конец можно лишь скрыть, но не остановить.

Гэм смутно улыбнулась.

- Кто говорит о конце...

Кинсли не ответил.

Шли дни, отягощенные мыслями, которые обособляли, требовали одиночества. Временами взгляд искоса, ощущение тени, стеклянной стены. Потом снова бурная кипень чувств, хлещущих через край, безумный лепет. И вновь отлив, вновь равновесие и ожидание, которое казалось неоправданным и все же было куда упорнее любого дурмана.

На наружной лестнице и на террасах храма в Канди развешаны факелы. Их трепетный свет озарял торговые палатки сингалов, возле которых толпился народ, покупая свечи и белые цветки лотосов. Священники в шафранных одеждах встретили европейцев глубокими поклонами. Кинсли заговорил с ними на хиндустани; они отвечали на хорошем английском.

Настоятель показал им храмовую святыню – зуб Будды – и необыкновенную храмовую библиотеку, состоявшую из многих тысяч металлических табличек. Кинсли завел с ним разговор о пессимизме буддийской религии. Настоятель сравнивал ее с принципами Шопенгауэра и Платона. На удивленный вопрос Гэм он улыбнулся и кивнул на полку с европейскими книгами, зачитанными буквально до дыр.

- Человек преодолевает лишь то, что знает. А в том, что знаешь, опасности нет. Оно может обременять, но уничтожить уже не способно, ведь наше дыхание проникает в его поры и медленно перетягивает его к нам. Завоевание навсегда происходит именно так, ибо является метаморфозой... иначе оно было бы лишь временной сменой порядка. Кто обретает цель, без борьбы обретает и рычаг для

ее осуществления. Но кто лишь празднично держит этот рычаг, однажды от него и погибнет. Опасно лишь незнаемое; ибо оно чуждо и ни с чем не связано.

- Поэтому мы так любим все чуждое?

- Мы любим его до тех пор, пока не узнаем, а тогда в нем уже нет опасности. Оно становится нашим и более не жаждет нас одолеть. Познание означает освобождение.

- Познание - какое слово! Как это возможно?

- Не мыслями, мысль неуклюже, ощупью блуждает во тьме и гаснет на поверхности... Кровью. Любовь - вот самое острое познание. Она стремится завоевать себе другого. И завоевывает, проникая в него. Она - перетекание, перелив через край, пока не наполнятся водоемы другого. А наполнятся они уже не его водами.

- Тогда она - порабощение и разрушение...

Лама усмехнулся.

- У людей Запада такая путаница в этих вещах. Под их белыми лбами живет беспокойство, этот гладкий зверек, который они зовут мышлением. Они всегда берут его с собой и задают вопросы. Все люди Запада задают слишком много вопросов, они слишком мало молчат и не умеют ждать. Ожидающий и готовый увидит свершение. Оно как цикада. Многие слышат его, но мало кто видит. Оно бежит шума. Только когда человек станет как земля, как гора, и плод, и лоза, оно является взору. Ива сильнее дуба. Она не ломается в бурю, потому что покоряется ей. Устанавливающий закон должен знать, что устанавливает его лишь в этом времени, иначе запутается в нем и иссохнет. Деревья растут и умирают, даже скалы выветриваются. Нет ничего постоянного, кроме переменчивости.

- Переменчивость. - Гэм оперлась на край низкого парапета. Лицо настоятеля было едва различимо во мраке. Суровый стоял он перед нею в беспредельности вечера. Рукава его одеяния пузырились на ветру.

Он опять усмехнулся.

– Иногда у меня гостит один человек с Запада. Он прожил несколько лет в священном городе Урге и беседовал с Живым Буддой, который там правит. Говоря о законах любви, он открыл мне вот какую тайну. Магнит ищет железо и притягивает его, так же как железо магнит. Но вскоре магнит пропитывает железо своей силой, и мало-помалу оно становится полной его собственностью и превращается в магнит. Тогда магнит отталкивает его. И ищет другое железо.

Гэм опустила глаза. Она думала о Клерфейте, чьей судьбой стала закованность. Он не сумел вновь освободиться. Она это почувствовала и ушла от него. Лама сказал, что у всего есть время расти и время умирать? Но разве нет воли сильнее этого? Преодолевающей и победоносной? Она взглянула на Кинсли. Он стоял целиком в тени. Что же между ними такое?

Настоятель продолжал:

– Несколько дней назад этот европеец со своим слугой-тамилом побывал у меня; у юноши на виске была рана, которая никак не затягивалась. Европеец просил для него целебные травы и индийский бальзам. И мы опять говорили об этих вещах. Он полагал, что знание о них почти угасло, поскольку мораль западных стран ими пренебрегает, и сказал, что лишь немногим женщинам ведомы печаль и несовершенство любви. Они – опора судьбы. В них сознание вида бьется сильнее, и такие процессы совершаются в них с большей ясностью. В тех книгах, – он указал на печатные томики, – кое-где упоминается о них. Аспасия, Фрина... Лаис. Он сказал, что эти женщины больше подвластны тайным токам и связаны собственным законом. Они не способны покоиться в другом человеке, им всегда необходимо одолеть его. И с улыбкой добавил, что тут-то и виден характер противника. Эти женщины – как шары, они катятся куда хотят, ну разве только наткнутся на препятствие, ненадолго. И это – дни их счастья.

Гэм молчала. Так много стремилось вылиться в слова. Но когда она пыталась это осмыслить, все тотчас ускользало. И она сдалась, потому что знала: это в ней, и слов не нужно.

Настоятель проводил их до дверей храма. Все вокруг тонуло во тьме. Шелестели сады. Золотые шары звезд стояли в вышине. Подойдя к Гэм, настоятель сказал:

– Тот, кто без женщин живет в мудрости, способен провидеть грядущее. И я вижу, что ваши руки еще раз коснутся плит этого храма. Тогда я скажу вам больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Абу Нувас (747 или 762 – между 813 и 815) – арабский поэт, автор любовных и гедонистических стихов. – Здесь и далее, если не указано особо, примеч. пер.

2

Давай... давай... (англ.)

3

Помбе – африканское пиво из проса.

Зорро – южноамериканская лисица.

Купить: <https://tellnovel.com/erih-mariya-remark/gem-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)